

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ИГО ВОЙНЫ

Леонид Андреев

Иго войны

«Public Domain»

1916

Андреев Л. Н.

Иго войны / Л. Н. Андреев — «Public Domain», 1916

«Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался? Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях...»

Содержание

Часть I	5
1914 год	5
Августа 16 дня.	8
Петроград, августа 19 дня, вторник.	10
Августа 22 дня.	11
Сентября 7 дня, воскресенье.	12
Того же числа, вечером.	13
Сентября 12 дня.	14
Сентября 14 дня.	15
Сентября 27 дня.	16
28 сентября.	17
Октября 2 дня.	18
Октября 16 дня, Петроград.	20
Октября 17 дня.	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Леонид Николаевич Андреев

Иго войны

*Илье Ефимовичу Репину с любовью и глубоким уважением
посвящает автор*

Часть I

1914 год

С.-Петербург, августа 15 дня.

Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался?

Ну, война и война, – конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... давно ли была хоть бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях.

Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть-таки довольно сильное беспокойство или тревога... не знаю, как это назвать; или даже вернее: некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты (теперь я беру две большие газеты, кроме «Копейки»), как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным.

А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно. Представить себе только одно: 20-го июля я заплатил тридцать рублей за дрянную подводку, чтобы из Шувалова, с дачи, добраться до города, а через каких-нибудь пять дней со всею семьею ехал по жел. дороге обратно на дачу и жил там преспокойнейшим образом до 17-го августа. Стыдно вспомнить, что тогда с нами делалось! Жена, немтая и нечесаная, совсем обестолковела и имеет вид безумной, дети трясутся на телеге, а я, отец семейства, марширую рядышком по шоссе и чувствую так, будто позади меня началось светопреставление и надобно всем нам бежать, бежать без оглядки, бежать бесконечно... не до Питера только, а до самой неведомой границы земли.

Во всех лавках по дороге хлеб продают, сколько хочешь, а у меня – в кармане за каким-то дьяволом сухая корка! На всякий случай, предусмотрительность и расчет. О Господи!

Погода была превосходная, чудесная, а нам и в погоду-то не верилось, все казалось, что либо польет дождь, как в потоп, либо внезапно выпадет снег и ударит мороз – это в июле-то! – и всех нас погубит на полпути; уж как мы все гнали нашего извозчика! Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное: сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею; и это бы ничего, вполне естественно, так как я очень люблю моих детей и особенно Лидочку... но что я думал про себя, когда шутил? Думал: «Вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие: даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю!»

Вот какой герой сверхъестественный!

А что было, когда мы к вечеру ввалились в нашу квартиру, какая Пасха необыкновенная! Истинный восторг, блаженство и ликование! А когда свечку зажгли (электричество еще было закрыто по случаю отъезда) и всей семьей за самоваром расселись!

Но что самое удивительное: решительно не могу припомнить, когда прошел у меня этот дурацкий страх и как это случилось, что всего через пять дней мы спокойнейшими дачниками ехали обратно и, главное, нисколько себя не стыдились! Положим, половина вагона состояла из таких же героев, как и мы, но как мы друг на друга смотрели? Не помню. Просто никак и не смотрели, а ехали обратно, и все тут. Герои! Да еще рассказывали друг другу, сколько каждый дурак за подводу отвалил, и тоже без всякого стеснения.

Конечно, в значительной степени меня подвинула жена, Александра Евгеньевна, своим почти что бессловесным ужасом, и так я теперь знакомым объясняю тогдашнее наше бегство «в Египет», но для совести моей этого объяснения недостаточно. Сдрейфил! Главное: будь бы я от природы трус, баба – тогда и все бы понятно, и совесть бы моя не тревожилась... какая совесть у труса, трусу ничего не стыдно! Но я вовсе от рождения не трус, скорее смелый человек и за себя всегда постоять могу, и нашло же на меня какое-то затмение! Словно какая-то судорога случилась у меня в мозгу и помутился белый свет. Ведь если со стороны поглядеть, как я по шоссе маршировал и весьма храбро собирал цветочки, так ведь истинный дурак, трус и подлец, а я себя не на шутку умным почитал: как же – и телегу достал, и вот детей спасаю, и в кармане у меня корка... не как-нибудь, а с запасом человек!

Но отчего же все это?

Теперь я так это объясняю. По-видимому, мне, как и всем другим, в тот день что-то представилось, какое-то сверхъестественное видение, настолько поразительное, страшное и необыкновенное, что даже и на войну оно не было похоже. Положительно, как ни стараюсь, не могу припомнить, в чем тут дело, что это за сон приснился наяву... да, именно что-то вроде светопреставления, конца земли и полной гибели всего живущего. Точно где-то гром прогремел и со звоном раскололась земля, дала трещину, от которой надо бежать и спасаться.

Одно я вполне отчетливо помню: самих немцев с их кайзером я нисколько не боялся и даже вовсе позабыл о них, как будто и не в них дело; да и как могли немцы в один день прилететь в Шувалово – всякий дурак понимал, что это невозможно, глупо даже думать.

Да и кто такие немцы? В конце концов, все такие же люди, как и мы, и нас они, вероятно, боятся ни больше, ни меньше, чем мы их. Дело, так сказать, обоюдное... А здесь – не то звери допотопные гнались по пятам и грохали по земле своими ножищами, не то... нет, и не звери! Что такое – зверь? Какие звери? Кто их теперь боится? Пустяки, не в этом причина, а в том, что произошла в мозгу какая-то судорога и помутился белый свет. Именно: помутился и весь перевернулся, днищем кверху, точно я не на ногах, а на руках иду, как акробат.

Вот еще помню я, как тогда, на шоссе, меня удивляло все самое обыкновенное и ни в каком отношении не замечательное. Идет, например, навстречу человек, а я гляжу, как он ногами перебирает, и удивляюсь: ишь, идет! Или курица выскочила на дорогу, или котенок под лопухом сидит – тоже удивительно: котенок. Или я говорю лавочнику «здравствуйте!», а он мне тоже отвечает «здравствуйте», а не какое-нибудь совсем непонятное: бала-бала.

Улицы в городе увидели – опять все удивились, точно двести тысяч выиграли; городской на углу стоит (даже еще знакомый) – опять все заахали от изумления и радости! Как будто от двух слов Вильгельма: «война объявлена» все это должно было провалиться в преисподнюю: и котенок, и улица, и городской; и самый язык человеческий должен был замениться звериным мычанием или непонятным лопотом. Какие дикие вещи могут представиться человеку, когда он испугался!

Теперь я уж ничего не понимаю в этом страхе своем и только стыжусь. Есть и еще один факт, кроме Лидочкиного цветочка, который очень больно колет мою совесть. Трус я или нет,

об этом ввиду вышеизложенного можно теперь говорить только с догадкой, но в честности своей я всегда был уверен. Здесь, в дневнике, наедине с Богом и моею совестью, могу сказать даже больше: я не только честный, а замечательно честный человек, чем по справедливости горжусь. Впрочем, таким меня и люди знают.

И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы.

Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать только улыбку: ну что могло сделаться с этой душой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не сделалось, и через два же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело: ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге и, главное, нужно было оставить человека убрать и постеречь вещи. О вещах-то не забыл, буржуй!

Одно можно сказать в утешение: Анисья хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба.

Августа 16 дня.

Этот дневник мой я пишу по вечерам и ночам под видом служебных бумаг, которые якобы беру на дом из конторы. Александра Евгеньевна, моя жена, во всех отношениях чудесный и даже редкий человек, интеллигентный, добрый и отзывчивый, но все же между нами есть некоторая разница, какая есть между собою и всяким другим самым близким человеком; и для меня крайне важно и необходимо, чтобы никто не читал написанного мною, иначе я потеряю свободу в выражении моих мыслей. Не считая того, что о многом говорить стыдно даже с близкими и любимыми людьми, в моих теперешних мыслях я усматриваю даже опасность некоторого соблазна для менее сдержанных натур, нежели моя. Не буду мешать людям думать свое, но не хочу, чтобы и мне мешали.

Начну с великого признания: какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек! Там война, кровь и ужасы, а здесь моя Сашенька только что выкупала в теплой воде ангелочка Лидочку и бурбона Петьку, а теперь докупывает Женю и чего-то смеется; потом она будет делать что-то свое, прибираться к завтрашнему воскресенью, может быть, поиграет на пианино. Вчера мы получили открытку от Павлуши, и теперь неделю Сашенька будет весела и спокойна; конечно, нельзя знать, что случится, но если не очень заглядывать в будущее, то наша жизнь одна из самых счастливых. Пианино мы берем напрокат, для Сашеньки, которая очень любит музыку и готовилась в консерваторию; ввиду военного времени, для сокращения расходов, Сашенька хотела отказаться от инструмента, но я решительно настоял на том, чтобы его оставить: что такое пять рублей в месяц, когда музыка всему дому дает такое приятное настроение! Да и Лидочка уже начинает подучиваться, у нее несомненный талант, даже удивительный в ее шесть с половиною лет.

Да, я счастлив, и вот главные причины моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне сорок пять лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух! Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да поздоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее, но, в сущности, я невыразимо счастлив, что могу, нисколько не нарушая закона, не идти на войну и не подставлять себя под какие-то дурацкие пули.

Здесь я еще соткровенничаю. Когда у нас в конторе рассматривают карту и кричат, что эта война необыкновенная, кому-то до крайности необходимая, я, собственно, не спорю: кому нужны мои маленькие возражения? Или засмеют, или еще начнут стыдить, как недавно до слез застыдили конторщика Васю. Наконец, ввиду общего подъема мои неосторожные слова могут быть просто вредны – мало ли как их истолкуют!

Но что бы ни говорили в конторе и как бы ни кричали и ни распинались за войну газеты, про себя я твердо знаю одно: мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно (да это так и есть), что более высокие умы: ученые, политики, журналисты способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке, но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного. И когда я представляю, что я пошел на войну и стою среди чистого поля, а в меня нарочно стреляют из ружей и пушек, чтобы убить, прицеливаются, стараются, из кожи вон лезут, чтобы попасть, то мне даже смешно становится, до того это пахнет какою-то сверхъестественной глупостью.

Вот сейчас я нарочно всего себя осмотрел сверху донизу: что во мне такого соблазнительного, чтобы целиться, и где этот соблазн сидит: во лбу? в груди? в животе? И сколько я себя ни осматриваю и сколько ни ощупываю, вижу только одно: человек я как человек, и только дураку придет в голову стрелять в меня. Поэтому я и пули, нисколько не стесняясь, называю дурацкими. И когда я представляю дальше, что против меня на другой стороне сидит немец и

так же ощупывает свой живот и считает меня с моим ружьем форменным дураком, мне становится не только смешно, но и противно.

Ну а если немец не ощупывает своего живота и совершенно серьезно целится, чтобы убить, и понимает, зачем это надо? И если выходит так, что дурак-то я с моим непониманием, да мало того, что дурак, а еще и трус? Что ж, очень возможно. Возможно, что и дурак. Возможно, что и трус. Вдруг не один я в Питере, а тысяча, сто тысяч ведут такие же дневники и тоже радуются, что их не призовут и не убьют, и рассуждают точь-в-точь так же, как и я?

Ну и пускай. Разумеется, гордости очень мало в том, чтобы бояться за свою жизнь и ощупывать живот, как кубышку, и Георгия с бантом за это не получишь, но я и не гонюсь за Георгием и в герои Малахова кургана не лезу. Всю мою жизнь я никого не трогал и, что бы там ни пели, имею полное право желать, чтобы и меня не трогали и не стреляли в меня, как в воробья! Не я хотел войны, и Вильгельм ведь не прислал ко мне посла с вопросом, согласен ли я драться, а просто взял и объявил: дерись!

Само собою понятно, что я люблю мою родину, Россию, и раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что, если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу, за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед, на рожон, я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют или я убью кого там надо.

Все это само собою понятно, и дело в том, что мне, по счастью, сорок пять лет, и я имею полное право не трогаться с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть, и не дураком – мое право. Судьба! Вместо того чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге, на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Меттерлинком и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому сорок пять лет и который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам, и я счастлив.

Да и мало ли что могло быть! Могло быть и то, что вместо нашего банкирского дома, который крепок, как стена, и выдержит всякую войну, я мог бы служить в каком-нибудь жиденьком дельце, которое сейчас уже рухнуло бы, как рухнули многие... вот и остался бы я на улице с моей Лидочкой, выигрышным билетом и пятью сотнями рублей из сберегательной кассы – тоже положение! А мог бы быть поляком из Калища, или евреем, и тоже бы лежал сейчас во рву, как падаль, или болтался на веревке! У всякого своя судьба.

Но гадать о том, чего нет, совершенно бесполезно, и сколько бы я ни жалел бельгийца или нашего солдата, который погибает в окопах, я не могу радоваться тому, что я есть то, что я есть. Господи! – вместо моей чудесной Сашеньки у меня и жена могла бы быть какой-нибудь дрянью, каких достаточно на свете, и это также была бы судьба, и не могу я не радоваться своему счастью, раз оно есть.

...Сейчас Сашенька играла бельгийский гимн, и я слушал. Какая прекрасная музыка! Сколько в ней воодушевления и любви к родине и свободе! Слушаешь ее, и даже слезы навертываются на глаза, и так жаль становится бедных бельгийцев, которым не помогла ни эта прекрасная музыка, ни любовь к родине, задушит их проклятый немец.

Нет! Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости! Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо – потом, дескать, возьмем мы Берлин и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я (а почему ему и не быть?), то очень ему пригодится эта справедливость!

Сашенька говорит, что поздно, зовет спать. Или мне и тому не радоваться, что после дня честной работы я иду спать?

Петроград, августа 19 дня, вторник.

День исторический: переименовались в Петроград. Отныне я петроградец.

Оно красиво, да и трудно будет привыкать. Контора наша радуется новизне, а мне от души жаль старого Петербурга, да еще Санкт-Петербурга. В этом Петрограде чувствуешь себя так, будто в новом сюртуке весь день торчишь в приемной у начальства; и хорош сюртук, а все жаль старого пиджачка, в котором каждое пятно говорит о приятном уюте.

Августа 22 дня.

Мы продолжаем побеждать. Пруссия занята нашими войсками, и прошел слух, что не нынче завтра будет взят Кенигсберг. Это важно! А сегодня сообщение от штаба, что взяты Львов и Галич и австрийцы совершенно разбиты.

Нечего греха таить: как я ни миролюбив, а все-таки приятно и самому поздравлять и принимать поздравления. Если уж воевать, так лучше бить, нежели самому быть битым. Но как разгорается война, как быстры ее огнедышащие шаги! Мне это напоминает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе: только что загорелся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца-краю нет огненному морю.

Любопытно для моралистов некоторое свойство человеческой души: что хорошего в пожаре? – а чем яростнее разгорается огонь, тем несомненное какое-то праздничное ощущение. Или это так празднично действует звон колоколов, блеск пожарных и суетливые толпы? Юность мою я провел в провинции, где и гимназию окончил, и помню, с какой быстротой летали мы на всякий пожар, где бы он ни случился. Мастеровые бросали работу и неслись туда же, и никто не стеснялся своего костюма и неумытого лица; и только, бывало, пронесется крик: «Пожар!», все мужчины и мальчишки лезут на крыши, гремя железными листами, и стоят, еле держатся, протягивают вдаль указательные персты, как полководцы на памятнике. И даже в гимназии, когда мимо проезжал с колокольцами пожарный обоз, учителя не запрещали всем бросаться к окнам, да и сами смотрели.

Конечно, о несчастных погорельцах мало кто думал в эту минуту. Признаться, я и сейчас испытываю некоторое возбуждение и с огромным любопытством смотрю на картину европейского пожара, гадая о каждом новом дне. Хотя лично я предпочел бы мир, но утверждение наших конторских, что мы, современники и очевидцы этой необыкновенной войны, должны гордиться нашим положением, – несомненно, имеет некоторые основания. Гордиться не гордиться, а интересно.

Один тяжелый камень на сердце – это Павлуша. Пока все благополучно и он где-то в Пруссии шагает победителем, но кто может поручиться за завтрашний день? А где был бы я теперь, да и был бы, если бы не сорок пять лет мне считалось от роду, а двадцать-тридцать? Вот охлаждающая мысль, к которой почаше следует возвращаться, не увлекаясь чрезмерно интересными картинами.

Сентября 7 дня, воскресенье.

Вот уже две недели и два дня, как от Павлуши нет никаких известий. По последним его письмам можно было заключить, что он где-то в Пруссии, где так ужасно были разбиты самсоновские корпуса. Конечно, Сашенька в страшном беспокойстве, а тут еще каждый почти день приходит ее мама, моя теща, Инна Ивановна, и видом своего старушечьего горя как бы весь дом наш одевает в траур. Вот и сейчас она пришла от обедни прямо к нам, и Сашенька поит ее кофе в столовой, пока я тут пишу.

У Инны Ивановны, кроме младшего, Павлуши, есть еще сын, семейный, у которого она, собственно, и живет, так как своих средств не имеет; но оттого ли, что Николай порядочно суховатый человек, или по самой природе вещей ее больше тянет к дочери, всякое свое горе и беспокойство она несет к нам. Само собою понятно, что я всем сердцем люблю безобидную старушку, но не могу утаить, насколько лично для меня бывают порою тягостны эти скорбные посещения. То она придет с жалобами и слезами по поводу Николая, который скверно живет с своей женой, то вот теперь с Павлушей; всегда у нее что-нибудь найдется, чем она сумеет расстроить Сашеньку и внести дисгармонию в наше маленькое счастье.

Я и сам люблю Павлушу и без содрогания не могу подумать, что, быть может, сейчас, в эту самую минуту, как я пишу его имя, его убивают или уже давно он мертв и похоронен; вчера ночью, случайно проснувшись, я долго потом не мог уснуть от какой-то нелепой и мучительной раздвоенности в душе: решительно не могу думать о Павлуше как о живом и в то же время не имею никакого права думать о нем как о мертвом. И то ли мне жалеть его, что он в окопах и подвергается опасности, и обдумывать вопрос о теплых вещах, которые мы собираемся послать ему, — то ли уже оплакивать его... неизвестно!

И я знаю, что если не теперь (мне почему-то кажется, что сейчас Павлуша жив), то в близком или далеком будущем его почти наверное убьют в этой ужасной войне, больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости. Хотя многие в конторе утверждают, что война кончится уже в ноябре, и я не спорю с ними, но мне этот оптимизм кажется чрезмерным, и раньше Рождества мира ожидать нельзя: значит, еще почти четыре месяца. А так как каждый месяц убивается около двухсот тысяч, то можно представить, каковы шансы у нашего Павлуши!

Но я мужчина, у меня мужские силы и ум, я могу вполне осознать силу неизбежности; и удар, если он постигнет нашу семью, приму с твердостью. Да — но что будет с нашим домом? Что будет с Сашенькой? Что будет с мамашей, которая может сама умереть от одного только слова?

Вчера во время бессонницы, ночью, я обдумывал следующее: как об этом сказать мамаше, если случится? И кто скажет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить только, только подумать! Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека: до этой минуты все было одно и мир один, а с этой минуты все другое и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется... слезы ли, крик ли какой-нибудь неслыханный, смерть ли!

Сейчас, в столовой, посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал: а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать: Павлуша убит! И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анилья и съест, ничего не зная.

По-видимому, еще очень дурно влияет на всех нас осенняя петроградская погода. Дети капризничают, и даже моя небесная Лидочка нарушила свои ангельские обычаи и подралась с Петькой. Какое она очаровательное маленькое существо!

Того же числа, вечером.

Только сейчас вернулся с прогулки, часа три гулял по набережным и Невскому. Боже мой! – какая это красота, наша северная столица, какое богатство, какое могущество! Многие не любят нашего Петрограда, и даже в конторе часто можно бывает слышать этот глупый спор, что лучше: Питер или Москва? Конечно, я молчу, по моему обыкновению, да и стоит ли убеждать людей, которые либо просто слепы, либо нарочно не хотят видеть; особенно противен по этой части наш поляк Зволянский, который чему-то учился полгода в Париже и ничему не научился, кроме умения делать презрительные гримасы. «Дурак ты, дурак! – думаю. – Заставить бы тебя построить такой город!»

Когда я вышел сегодня на Невский, то как раз попал к тому необыкновенному моменту, когда внезапно по всей его линии бесшумно вспыхивают электрические фонари и сероватые сумерки сразу становятся синей ночью. Самое здесь удивительное, что какая бы ни стояла погода, моросит ли дождь или падает снег, вместе с фонарями сразу меняется и погода, становится какой-то особенной превосходнейшей погодой! Просто с наслаждением влез я в толпу, которая показалась мне сегодня особенно велика и оживленна, и так с нею и проплыл до Адмиралтейства, не замечая дороги, словно все мы летели по воздуху; и все время любовался огнями – сколько их, зеленых, белых, малиновых! Текут трамваи непрерывнейшим потоком, нельзя сосчитать их зеленых и красных фонарей, заходящих друг за друга, автомобили множеством парных лучистых глаз своих точно выметают гладкую мостовую, на черном небе вспыхивают транспаранты, а толпы людей движутся, шумят, идут, плетутся извозчичьи кони (кто-то едет в гости!), скачут рысаки... нет, не мне описать это сверхъестественное зрелище!

А на набережной безмолвные громады дворцов, черная вода с огнями редких пароходиков, чуть видная Петропавловская крепость с гробницами наших царей и заунывным звоном, глаголом времен... и на круглых гранитных скамейках молчаливые парочки: как и я когда-то посиживал с Сашенькой, запуская, под предлогом холода, свои руки в ее тепленькую муфточку. Долго, между прочим, смотрел я на строящийся Дворцовый мост и соображал, как еще и он украсит нашу дивную столицу.

Возвращаясь же домой все среди такой же бесчисленной и оживленной толпы, я думал о том, как далека от нас ужасная война и как при всей своей ярости она бессильна над человеческой жизнью и созданиями человека. Каким прочным, точно вылитым из стали, казалось мне все: и трамваи, и извозчики, и эти парочки на круглых скамейках, и весь обиход нашей жизни... и еще смешнее стал мой тогдашний первоначальный постыдный страх. Нам ли бояться?

А в Берлине, говорят, уже наполовину погашены городские огни и немцы уже начинают голодать. Несомненно, что они сами виноваты в этой дикой войне, и мне, как русскому, надо радоваться их несчастью, но... Скажу то, чего опять-таки я не решился бы высказать в нашей конторе: если их Берлин хоть немного похож на наш Петроград, мне их жаль. Когда темно, тогда и холодно, и как, должно быть, холодно теперь этим несчастным зарвавшимся тевтонам; и думают они теперь: зачем мы начали эту проклятую войну, зачем свершили столько убийств и злодеяний, если в результате всех наших преступлений только холод, и темнота, и позор? Нет, хоть распни меня – не могу понять и никогда не пойму, зачем люди стремятся убивать друг друга. Какая выгода? Какой смысл?

Пора спать. Но вот что значит непривычка к дневнику: о пустяках болтаю, а главного-то и не сказал – от Павлуши открытка: жив и здоров. И получилась она как раз в ту минуту, когда мамаша уже собиралась домой и стояла в передней, копалась в своих платках и платочках. Радость, конечно, и я с ними счастлив.

Но как все-таки ненадежно наше человеческое счастье!

Сентября 12 дня.

Или мне это кажется... но что-то фальшивит народишко. С одной стороны, все как будто и впрямь проклинаят войну с ее жестокостями и кровью, а с другой – причмокивают губами от какого-то странного удовольствия. От наших ли побед в Галиции, или самая новизна эффектных военных событий действует на умы, но что-то слишком много веселого шума и в газетах, и в нашей конторе. Конечно, бельгийцы герои и король Альберт высокая личность, достойная своей короны, – но все-таки героям горлышко-то режут да режут?.. И чего тут особенно ликовать, я решительно не понимаю, хотя и молчу.

Однако не удержался и сам купил портрет короля Альберта, отдал дань общему увлечению. Но войной все-таки увлечься не могу и, когда читаю в газетах огромные, словно оскаленные заголовки: «Ярослав горит» или «Сандомир в огне», – каждый раз испытываю в мозгу какое-то мучительное ощущение; похоже на острый толчок или на присутствие в мозгу какого-то постороннего предмета. Какое требуется воображение, чтобы вполне ясно представить себе такую картину: Ярослав горит! Сандомир в огне! Поневоле еще раз благословишь судьбу, что наш Питер так далек от всех этих ужасов и треволнений.

Сентября 14 дня.

После серьезного размышления решил дать этот дневник для прочтения Андрею Васильевичу, если, конечно, его не убьют и он вернется с войны. Он никогда со мною не соглашался, пусть рассудит и здесь, прав я или нет. Особенно неприятно мне стало, когда я перечитал мои рассуждения о сорока пяти годах и о моем счастье: когда о таких вещах пишешь скрытно и один, то становится очень похоже на подлость. А я не подлец, и скрывать мне нечего; и одно дело – не болтать и не лезть ко всякому со своими мнениями, и другое дело – таиться и скрывать. Мне скрывать нечего, моя жизнь у всех на виду.

Был болен Петя, ангина, и насилу раздобыли врача. Наш Казимир Вячеславович на войне, а другие все заняты по лазаретам, утомлены, не разыщешь. Что же: мне и этому радоваться и в этом находить высочайший смысл, что больной ребенок остается без помощи? Нет, как я имел, так и буду иметь на этот счет свое собственное мнение.

Сентября 27 дня.

Все эти дни, содрогаясь от ужаса, читаю в газетах о том, как немцы осаждают Антверпен. Тысячи тяжелых орудий осыпают его снарядами, все разрушается и горит, народ бежал, и по опустелым улицам перебегают только отряды солдат. «Над Антверпеном все небо в огне», – пишет газета, и просто нельзя вообразить, что это значит: все небо в огне! А из этого огненного неба огромные цеппелины бросают вниз бомбы... каким надо быть человеком или чертом во образе человека, чтобы летать над таким адом, над пожарами, взрывами и крышами и еще подбрасывать туда огня и разрушения!

Сегодня всю ночь, начитавшись газет, летал во сне таким манером над горящим городом, и должен со стыдом признаться: наряду со страхом и отвращением испытываю невероятную зависть к этим бесстрашным и безжалостным летающим людям. Что они – другой породы, что ли? Отчего они не боятся? Отчего им не жаль? Отчего не дрожат их руки и не замирает сердце? Какие у него глаза и как он смотрит, когда, склонившись через перила цеппелина (или как там), разглядывает он ночной, освещенный пожарами, дымящийся город, прицеливается, соображает?

Не могу представить, читаю, как сказку, а в душе все где-то не верю, что это правда. А если правда – то зачем я на свете? Отсталая баранья порода. Во сне летаю, а наяву все ищу места, куда бы я мог спрятаться в случае чего, с вожелением смотрю на проходные ворота. Помню, давно, еще до войны, пролетал над Невским наш дирижабль, и мы все выскочили из конторы, любовались его блеском в солнечных лучах и парением в воздухе, на этой головокружительной высоте; остановились и прохожие, задрали головы, и среди них один хмельной чиновничек в форменной фуражке, с горлышком водочной бутылки, торчащим из кармана. Поглядел он, прищурившись, на дирижабль, примерился, видимо, и сказал громко:

– Тут нужен человек непьющий!

И убежал. Тогда мы все смеялись, а сейчас я представляю себе это «небо в огне над Антверпеном» и думаю: какой же здесь нужен человек? Пьющий или непьющий? Нет, не могу принять этой новой фигуры, взлетевшей под облака, чтобы оттуда зажаривать бомбами. Вижу в его образе какого-то нового деспота, который все и всех презирает и всем желает помыкать. Мало ли их и прежде было на свете, этих безжалостных, которым все едино, что яйцо разбить, что человеческую голову! И если уж на то пошло, то предпочитаю остаться бараном, отсталой породой – режьте, если вам угодно, вот мое горло. Пожалуйста, не стесняйтесь!

А мысли все возвращаются к Антверпену. По-видимому, этот город похож на наш Петроград, большой и красивый, и много в нем воды, которая теперь отражает пожары и течет кровью среди ночного мрака. И небо в огне. Боже ты мой, боже ты мой, что делается на свете!

28 сентября.

Взяли Антверпен.

Октября 2 дня.

От осенней ли слякоти и темноты, от всей ли этой чепухи, но последнее время ужасно дурное настроение. Ничто не радует, и под ложечкой ощущение непрерывной тошноты, как при болезни. На трамваях каждое утро отвратительная хамская давка, то ли народу прибавилось, несмотря на войну, то ли трамваев меньше пускают, но всякий раз выходишь помятым и оскорбленным, как из пьяной драки. Крайне неприятно действуют и эти бесчисленные и порою довольно-таки нагловатые сборщики и сборщицы со своими флажками и цветочками. Особенно наглы подростки, которых родителям следовало бы дома держать, а не пускать на улицу.

Господи! Само собою понятно, что я отнюдь не отказываюсь вносить мою лепту, делаю это даже с удовольствием, насколько позволяют мои ограниченные средства рабочего человека, но меня оскорбляет именно это недоверие к моему чувству долга и гуманности, эта неприличная назойливость, с какою некоторые, чуть не все, заглядывают в глаза, в самый зрачок и допрашивают тебя о кошельке. Идешь по улице, и впечатление получается такое, будто всем стыдно смотреть друг на друга, и все поскорее отворачиваются, чтобы чего-то не заметить; а между прочим, я и сам не пропущу ни одного человека, чтобы искоса не заглянуть: а приколот ли у него значок? Так же, вероятно, и на меня косятся.

Это уж даже и не в кошелёк заглядывание, а в самую душу, чего я решительно не могу ни одобрить, ни допустить. Моя душа – это моя душа, и единственный ее господин это я. Государство или отечество, как там угодно, может распоряжаться моим телом, поскольку это предусмотрено законом, но никто, даже сам Петр Великий не имеет права влезать ко мне в душу и там наводить свои порядки, как бы великолепны они ни были. А вместе с тем необходимо признать это печальное явление, что с моей душой вообще как-то перестали стесняться и разгуливают по ней, как по Невскому.

Например, наш сегодняшний дикий спор с Сашей. Я всегда гордился своей гуманностью, которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал различия между национальностями, немец ли это, француз или даже еврей. А между тем и эти газеты, и вся наша контора вот уже два месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев, и вот сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша: «Если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец!»

– Но позволь, – говорю я, – кто тебе сказал, что я их люблю? Просто, как гуманный и культурный человек, я не могу ненавидеть человека, кто бы он ни был.

И она засмеялась!

– Хороша гуманность! А будь Павлуша не мой, а твой брат, так заговорил бы иначе. И я удивляюсь, зачем мама ходит сюда, где так горячо любят ее сына!

И при дальнейшем разговоре с невероятной грубостью бросила мне оскорбление, что я трус, предатель и счастлив, что могу не идти на войну по моему возрасту. И это – после всех наших разговоров о войне, которую она осуждает так же, как и я, после того, как только еще на днях она советовала мне полечиться ввиду моего желудка и частых перебоев сердца... хорош воин!

Само собою понятно, что я с ней нынешний вечер не говорю и буду два дня молчать в виде наказания, но толку от этого получится немного.

Вообще эта война начинает слишком сильно действовать на нервы, нет никакой возможности избавиться от нее хоть на день. Пробовал я не читать газет, но оказалось совершенно невозможным, да и газетчики кричат, да и в конторе целый день разговор около карты, и все это прямо ужасно. Уехал бы куда-нибудь, имей я средства, ведь есть же такие уголки на свете! А здесь, среди этого всеобщего ошаления, нет никакой возможности сохранить себя и спасти

свою душу от мучительной заразы. Повторяю, не я хотел этой войны, я осуждаю и проклинаю ее со всем «смыслом» – и почему я обязан все-таки думать о ней, знать, каждый Божий день читать об этих бесчеловечных ужасах?

Будь я бесчувственный негодяй, но я, при всей моей скромности, человек порядочный, обладающий большой чувствительностью, и я не могу не только оставаться равнодушным, но и не страдать ужасно от всех этих невыносимых терзаний. Ведь мало того, что убивают тысячами, сотнями тысяч, а еще и убивают как-то особенно, с каким-то дьявольским вывертом, грохотом, ревом, огнем; пока придет смерть, еще тысячу раз напугают человека до сумасшествия, всю его душу измочалят своими фокусами и неожиданностями! Что из того, что я живу на Почтамтской и ни разу не видал, как стреляют из пушки, когда все равно – мне и так становится все известно через газеты, через рисунки, через разговоры.

И зачем я должен страдать, кому это надо? Осуждайте меня как хотите, но будь у меня такая сила... заколдовать себя, заморозить, загипнотизировать, я без колебаний сделал бы это и ни разу даже не взглянул бы в ту сторону, где война. Кому нужно, чтобы и я, не участвуя в войне, тоже страдал, терял сон и здоровье, способность работать?

И как прискорбно, как мучительно, что Саша этого не понимает! Ведь если бы она вдумалась, она поняла бы, что мое здоровье нужно для всех нас, что если я начну ненавидеть немцев и так же, как и они с мамашей, каждую минуту дрожать за Павлушу, то что от меня останется? Вот и сейчас она заснула с чувством обиды и несправедливости, а я ведь не сплю и мучаюсь в моем невольном одиночестве! Ах, Саша, Саша! Разве мне легко? Называешься человеком, а всякой собаке завидуешь, что она лает себе на прохожих и не знает, что там господа немцы выделяются с господами русскими, и наоборот.

И нет такого темного чулана или чердака, куда бы спрятаться, как маленьким, бывало, прятался от вотчима. Камо бегу от духа твоего? Можно еще порадоваться, что снов я с детства не вижу и хоть во сне черпаю некоторый отдых и забвение, но зато с первой же минуты пробуждения порою уже готов лезть на стену от этого невыносимого раздражения, зудящей какой-то, по всему телу ползающей тоски. Да и плох становится сон, все точно прислушиваешься к чему; кстати же, и Саша спит беспокойно, вздрагивает, стонет, раскидывает руки. В конце концов, женщина – и жалко ее.

От Павлуши известие, что он в каком-то прикрытии, и хоть с этой стороны мы можем на некоторое время успокоиться; и сегодня я даже рассердился немного на мамашу, Инну Ивановну, которая, по-видимому, не понимает, что такое прикрытие, и продолжает с нелепым упорством читать списки убитых, ожидая встретить там Павлушу. И напрасно ей говорить, что списки эти старые, она ничему не верит, а может, уже и помешалась слегка, что-то похоже.

Вообще на редкость неприятный день. В конторе поляк Зволянский горячо ораторствовал по поводу возможного выступления Турции и выражал глупейшую радость, что проливы и Царь-Град будут наши. А я глядел на него молча, с легкой улыбкой, и думал: «Дурак ты, дурак! Радуйся, что еще Петроград-то твой, а уж с Царь-Градом заботы оставь!» И тут же представилось мне, что сидит в Константинополе какой-нибудь турок Ибрагим-бей, по-нашему Илья Петрович, и в ус себе не дует, что не нынче завтра наши умники и его толстый живот возьмут на прицел. Но попробуй скажи им это!

В нашем доме за счет квартирантов открывается небольшой лазарет, на пятнадцать кроватей; я, конечно, тоже вношу свою лепту.

Ах, Саша, Сашенька ты моя!

Октября 16 дня, Петроград.

Турция открыла военные действия против России. Война!

Октября 17 дня.

Как это случилось, не могу взять в толк и до сих пор, но вчера я примкнул к манифестантам, носившим по поводу войны с Турцией флаги и портрет, и часа три шатался с ними по всем улицам, пел, кричал «ура» и вообще отличался. Герой! Боюсь только, что герой наш простудился: сегодня что-то побаливает шея и затылок, было холодно без фуражки. А дома застал целое собрание: Николая Евгеньевича с женой и адвокатом Киндяковым, с которым они неразлучны, Сашенькину подругу, акушерку Фимочку, и еще кой-кого, всего человек семь.

На радостях достал четыре бутылки вина, которое мне еще в августе добыл пан Зволянский, и мы блестяще его распили. Конечно, не от вина, а от событий все были необыкновенно возбуждены, спорили, кричали, смеялись над Турцией, потом под пианино, на котором играл Киндяков, пели гимны. Лег только около трех часов, так как пришлось еще провожать домой Фимочку. Хорошо, что хоть днем сегодня прикорнул, а то бы совсем раскис.

Первый раз в жизни участвовал я в народной манифестации и, нужно признаться, испытал весьма интересное и сложное чувство, которое навсегда останется в моей памяти. И как это ни смешно покажется людям опытным, для меня самым интересным и необыкновенным было то, что шли мы не по панели, а по мостовой, где никогда не ходят, и что не только извозчики, но даже трамваи и автомобили давали нам дорогу. Это обстоятельство, а также флаги, наше громкое и самоуверенное пение и то, что нам козыряли городовые и военные, придавало нам большую важность и создавало такое впечатление, будто и мы так же воюем и похожи на какое-то внутреннее войско. Среди манифестантов были и военные, и один из них, отставной адмирал, старичок, все пытался командовать нами и заставить нас идти в ногу; иногда это удавалось ему сделать с ближайшими, и тогда и пение становилось ровнее и еще больше становились мы похожи на солдат, идущих в сражение. А как хорошо пелось! И какая испытывалась уверенность в победе, в нашей несокрушимости и силе!

Но оттого ли, что мы так необыкновенно шествовали по мостовой и город представлялся взорам с какой-то новой стороны, во мне опять, как и в первый день объявления войны, произошло внутреннее перемещение и наряду с восторгом все время чувствовался тот же самый, необыкновенный и ни на что не похожий страх. Отдаленная Турция и самая война так приблизились, что буквально рукой подать, и вместе с приближением этим все стало непрочно, ненадежно, точно каждую минуту готово провалиться в преисподнюю. И опять не сами турки были страшны, мы их до последней степени презирали и даже жалели за глупость, а что-то другое, чего я положительно не умею объяснить. Вот эта самая непрочность, что ли. Сегодня, идя утром на службу, я видел, как на полке везли куда-то, очевидно для посадки, небольшие деревца, у которых корни с землею были заключены в маленькие корзинки; они покачивались на полке и, вероятно, тоже удивлялись, что едут, испытывали, как и мы, эту самую непрочность. Когда их снова посадят в землю и они укрепятся, их положение станет естественным, а пока, между той землей и этой, они должны чувствовать себя очень странно.

И положительно, не могу с уверенностью сказать, от чего я громче орал «ура»! – от восторга или от страха. Сам ору во всю глотку, со всею добросовестностью, а сам думаю: «Боже мой, Боже мой! – где же всему этому конец?»; взгляну на дома и людей, взгляну на небо, откуда начало моросить, а там все серо и мглисто... и ничего нельзя понять в происходящем на свете! Как будто и то же небо, и дома те же, что знаю с детства... но что же тогда случилось, если и дома, и люди, и небо все те же? Дошло под конец до того, что сам себе стал казаться удивительным и даже незнакомым, и захотелось в зеркало посмотреть, чтобы увидеть, как я раскрываю рот и ору, какая у меня физиономия.

Сегодня я уже не восторгаюсь и не боюсь, и меня колом не заставишь разинуть рот для пения или крика, но зато появилась в душе какая-то тянущая тоска, почти болезненная мелан-

холия. Господи! Кому это нужно? Конечно, как русский, любящий свою родину, я не могу не радоваться, что проливы и Царь-Град будут наши, но и здесь в глубине сердца не могу не чувствовать некоторых сомнений: ведь жили же мы без Царь-Града и не жаловались. А что моего турка, пузатого Ибрагим-бея, убьют, в этом нет ни малейших сомнений, и мне его ото всего сердца жаль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.